



ВЕРА ГАЛАКТИОНОВА

МЯТЕЖНАЯ ЛАМПАДА ВЕКА

К 180-летию со дня рождения Л. Н. Толстого

Известно пожизненное стремление Льва Николаевича Толстого мыслить поверх канонов, чем и был он любезен сокрушителям основ российской государственности – мировым революционерам. Сейчас, после развала Союза, нам особенно понятна иллюзорность таких устремлений: сокрушая одну мировоззренческую клетку, камеру, ячейку, мыслитель обнаруживает себя во все не на воле, а в иной мировоззренческой клетке, только и всего. И в этой иной клетке он чувствует ещё большее неудобство, поскольку свободы как не было, так и нет, а истины новых клеток всякий раз оказываются гораздо более сомнительными, чем прежние. поэтапное сокрушение клеток у больших мыслителей заканчивается одним и тем же – сооружением своей собственной мировоззренческой клетки, что вполне удалось Льву Николаевичу Толстому. Причём удалось так, что философское имя его встало в один ряд с именами Энгельса, Рерихов, Ленина.

Но жизнь Льва Николаевича Толстого после его смерти никак не успокоится, она взывает к поиску истины – иначе зачем бы мы всматривались в его земную жизнь. “Братское единение” (unitas fratrum) – не есть ли это благородная цель любого осмысленного творчества? И детская мечта маленького барина – найти способ, как “уничтожить всё зло в людях и дать им великое благо” муравейного сосуществования – неужто она так крамольна? Ведь лишь взрослея, люди начинают понимать, что совсем это не просто – уничтожать зло в себе; так не просто, что до других и руки вряд ли дойдут. Здесь же руки дошли даже до создания крамольного материалистического Евангелия... Но мировоззренческая новая клетка, какую, безусловно, стало толстовство как учение, строится обычно из подручного материала – из того, что предоставила мыслителю та же самая история, переосмысленная им через современность. Сделаем же попытку посмотреть на мировоззрение писателя через то, каким был век, породивший Льва Толстого и породивший, может быть, с неизбежностью.

Во-первых, это был век, когда Россия народная, провинциальная, уже находилась в таком антагонизме с правящим самодержавным центром, что духовное развитие центра и народа давно двигалось **всуточь** – в двух противоположных направлениях по сути. Современник Льва Толстого философ Константин Леонтьев в своей работе “Как надо понимать сближение с народом” говорил в то время о **несходстве идей** романовского правления и всей народной жизни необъятной России: “Не нам надо учить народ, а самим у него учиться. Мы европейцы, а народ наш **не европеец**; скорее его можно назвать **византийцем**: вот чем он лучше и выше нас”.

Что же это такое – народ-византиец, когда уж давно и сама Византия-то пала? Тут мы вынуждены посмотреть очень глубоко: в результате чего Византия пала, а византийцы, видите ли, остались – в России. И живы они тут по сию пору.

Известно, что на протяжении веков Византия выполняла роль духовного противовеса рациональному Западу. Это она уравнивала ту самую незримую ось, спасительную для всего мира – для самого его существования. Ось: западное рации – восточная духовность. За полтора десятка лет до полного падения Константинополя в 1453 году, под нашествием Османской империи, Византия – главный источник культуры, православной веры и норм для Руси, отпала от своего же, византийского, пути, отдав предпочтение католическому Западу. По С. Зеньковскому, “византийский патриарх и царь признали верховный авторитет всегда ими нелюбимого владыки первого Рима и изменили, в глазах православных, своей правой вере и догме”. Вот – раскол византийский (предтеча никонианского), после которого могучая Византия как таковая была попросту стёрта с лица земли.

Что делает старообрядческая ещё, то есть – ещё византийская, Москва в то же время – в XV веке? “В противоположность Константинополю, Москва отвергла унию с Римом и осталась верной православию. Теперь русским казалось, что, наказав “изменников” греков за их отступление, Господь наградил “светлую Русь” за её стояние за православие и вручил ей защиту судеб христианства”. И вот: разительные перемены стали происходить с крошечной Русью (Московским княжеством по сути, после Василия Тёмного) в сторону её чудодейственного усиления. “Без больших потерь и расходов, без значительных походов и кровопролитных битв” земли Великого Новгорода, значительно превосходящие Московию, оказались под властью последней почти без сложностей, а общая территория Руси при Иване Грозном за полтора десятка лет “сама собою” стала огромной – от Северного океана до Причерноморья, от Западной Сибири до Днепра. Отметим же: так бывает, когда Россия остаётся верной себе – то есть высшему своему предопределению.

Однако на престоле вскоре оказываются Романовы, чьи предки, и это хорошо знала и помнила всегда народная Россия, были выходцами из Пруссии. (По Н. Костомарову и не только, “родоначальник дома Романовых Андрей Иванович Кобыла с родным братом своим Фёдором Шевлягой” был выехавшим с “прусской земли”). Отношение же коренной России к западникам отражает такая, весьма распространённая в своё время, незамысловатая народная мудрость, которую можно обнаружить и в словаре В. Даля: “Немец, хоть и добр будь человек, а всё лучше – повесить”. Но “онемечивание” российского центра, быстро разучившегося говорить по-русски, в дальнейшем только возрастало. И уже при Алексее Михайловиче, втором Романове, правящая Россия повторила в чём-то “византийскую измену”: свои религиозные нормы она стала менять на другие, имевшие место на Западе, в Греции православной, но развивавшейся в непосредственном соседстве с католичеством. Получалось, что наше – это не правильное и худшее.

Примириться с тем, что Сергей Радонежский, Дмитрий Донской и Александр Невский молились неправильно, народ в массе своей не смог. “Никонианскую измену” одни не приняли открыто, несмотря на самые кровавые репрессии, другие же только сделали вид, что приняли. Народная Россия на века перешла к своему подпольному духовному развитию, отдельному от троеперстного “подлатыненного” центра. Русское религиозное единство, расколотое надвое патриархом Никоном по безусловным указаниям Алексея Михайловича Романова, к XIX веку набрало страшную инерцию дробления, убийственную уже для России. Век XIX в России – это век такого духовного разъединения и разноса, которого не в состоянии вынести ни одно государство мира. Тем не менее всё новые и новые “искания” были в веке Л. Н. Толстого в большой моде.

Следует особо подчеркнуть, что вопрос раскола русского православия невозможно считать чем-то вроде западного антагонизма между католичеством и протестантизмом, как это принято ныне, ибо единый духовный путь не есть неперемненное условие выживания западных стран. Тот путь – другой, направленный на материальное, где роль религии – скорее вспомогательная, а само западное христианство носит в большой мере лишь прикладной, даже меркантильный характер. Там правильно то, что выгодно отдельному члену

общества. У нас же – правильно то, что требуется душе и государству. А всё остальное мы воспринимаем как искривление путей России. Рациональный Запад уравновешен Россией – страной духовных приоритетов. И на этой уравновешенности держится мир. Но отклонение России к Западу ничем хорошим не заканчивалось ни для нас, ни для мира в целом... Называя церковные преобразования Никона реформой, как на Западе, мы искажаем тем самым историческую действительность, ибо прежде свершения большевистской революции XX века, по сути – антихристианской, должна была свершиться **революция церковная**, предуготовляющая развитие большевистского антихристианства в России. И взаимосвязь этих двух революций, одну из которых принято называть Никонианской реформой, при ближайшем рассмотрении оказывается поразительной.

Итак, неверно думать, что расколотое надвое русское религиозное единство так и остаётся в последующих веках в числе лишь двойном. Инерция раскалывания, запущенная в действие, дробит общество веками, принимая самые замысловатые и высокоумные подчас формы. Не защищённая прежним духовным единством, Россия, расколота, а значит – ослабленная отречением от постановлений Стоглавого Собора, уже беспрепятственно впустила в себя модные мистические искания, подрывающие русское православие как таковое – впустила в невиданном доселе количестве, став мировым сосудом духовного брожения, в котором и вызревала с невиданной быстротой бактерия Великой Октябрьской. (Незадолго до неё эта же бактерия стала причиной социальной эпидемии на Западе, принявшей форму Французской революции, однако исказить путь Франции она особо не могла в силу как раз других – **не духовных** приоритетов в вопросе выживания страны.)

Опасность этого мистического брожения для Российского государства оценивается у нас на протяжении веков, как правило, не вполне соразмерно. Она смягчена необычайно в восприятии и в описаниях очевидцев, словно вопрос духовной цельности безбрежной России не является неременным условием её и усиления, и сохранения, и выживания, и целостности географической и политической. Вот что отмечал по этому поводу историк Н. Ф. Дубровин: “Как в царствование Екатерины II мы, из подражания Западу, были вольнодумцами, атеистами и насмешниками над религиею, так в царствование Александра I, из-за такого же подражания, стали мистиками”. **Мистиками**, как известно, из деликатности принято было называть масонов, которые возникли при дворе среди “просвещённых” фаворитов отнюдь не при Александре I, а куда как раньше.

В 1812 году **видимый** (выражение архимандрита Фотия), физический, Наполеон устремился туда, где ересями и мистическими антихристианскими (под видом масонских – “сверххристианских”) течениями разложившаяся почва для него была уже вполне подготовлена, – и вошёл в страну, изрядно поражённую “Наполеоном **невидимым**”. Но уже нездоровой страной видимый Наполеон был чудодейственным образом уничтожен, поскольку духовно раздробленная Россия явила вдруг в 1812 году невиданный, необъяснимый, сверхъестественный пример всеобщего, краткого, но неодолимого для врага единения. К сожалению, этот период был совсем кратким – едва миновала опасность для страны, Россия тут же вернулась к прежнему духовному, разъединительному для общества, баловству.

Какова же именно была мера духовного распада в России перед чудодейственным русским единением, одолевшим вдруг Наполеона видимого? Эта мера очень хорошо известна. В истории чётко отмечен тот исторический факт, что монарх, глава православной России, император её Александр I **впервые** читает Новый завет... лишь в самый канун вторжения Наполеона (1812 г.). Как же он руководил без этого всю светскую и духовную, отчасти, жизнью православной страны, народом-“богоносцем”, не удосужившись даже ознакомиться с тем, что подданные его исповедуют на протяжении веков?! Ведь если его так долго не интересовал Новый завет, значит, монарх Российский управлял православной страной почти с самого начала века (с 1801 года) с помощью **иных** идейных и духовных воззрений, которых он сам придерживался. Каких же, если Новому завету в них не находилось даже места?... Есть смысл говорить о религиозной обстановке XIX века столь подробно, дабы понять, с **какою** церковью и как разошёлся великий писатель, отразивший в “Войне и мире” всеобъединяющий и всепобеждающий взлёт народного духа России.

По историческим источникам самого начала века мы видим – к императору очень близок масон М. Н. Сперанский, не раз беседовавший с монархом на “мистические темы”, “предмет” которых был “...сообразен с сердечными чувствами” императора. Известно, что М. Н. Сперанский – “медитатор”, “кодификатор”, “систематик”, – принадлежал в масонстве не к розенкрейцерам, особенно обильно укоренившимся в России при Петре I и Павле I, а к так называемой “сциентической” системе Фесслера. При всём при этом, М. Н. Сперанский был из духовного звания и **преподавал** в Александро-Невской главной семинарии.

Видного деятеля немецкого масонства Фесслера Сперанский выписывает для занятия кафедры в Санкт-Петербургской духовной академии “по особому Высочайшему повелению” – и не только, видимо, для этого. Фесслер тут же учреждает новую масонскую ложу в Петербурге, которая имеет обыкновение собираться там в доме барона Розенкампа. Но задачи Фесслера ещё шире – он намеревается раскатать и подорвать русское православие в невиданных доселе масштабах, открыв дочерние ложи “по всей Российской империи”, дабы вовлечь и объединить в них “наиболее способных из **духовных лиц** всех сословий”. Кроме Сперанского, Фесслеру необычайно покровительствует друг царя с детства князь А. Н. Голицын – “наперсник царёв”. Ещё более сильное влияние на духовную жизнь Александра I оказывает Родион Кошелев, масон, связанный личным знакомством с Лафатером, Сен-Мартеном, Эккартсгаузенем. (Это влияние на взгляды монарха сохраняется и позже – Р. Кошелев пережил Александра I на два года.)

В записке для сестры Екатерины Павловны Александр I обнаруживает свои вкусы предельно ясно. Предпочтение в списке литературы отдаётся западным “мистикам”. Вот чем вытеснен Новый завет. Российскому императору интересны пастор Эмпейтаз, Крюденер, “моравские братья” (может быть, и *муравейные*, по догадке того же Л. Н. Толстого), гернгутеры. Сколь далёк был Александр I, а следовательно – и правящая верхушка того времени, от православия, указывает и протоиерей Г. Флоровский – “Имп. Александр исповедовал некое **смешанное** христианство, и во имя этой “всеобщей” религии и притязал властвовать и управлять”. Возможно, дабы “уничтожить всё зло в людях и дать им великое благо”, о чём мечтали маленькие Толстые...

Отметим особо – в кругу духовных единомышленников Александра I всё это время находится ближайший его друг князь А. Н. Голицын, под властью которого сосредоточены дела... православной церкви. По Н. М. Никольскому, при назначении Александром I на должность синодального обер-прокурора Голицын пытался отказываться со словами: “Какой я обер-прокурор, ведь я ничему не верю!” То, что атеизма, как такового, в природе не существует, сегодня понятно многим: отказываясь от помощи одной силы, человек автоматически подпадает под власть другой – воюющей против Создателя вечно. Не служащий Богу оказывается прислужником противоположной силы, даже если не подозревает об этом. Чистый, невинный *ateisme* (atheon) в мире, **созданном Богом**, невозможен в принципе. Он возможен лишь в виде **борения** с Создателем. А значит – с православием. А значит – с Россией...

Итак, Александр I, не читавший Нового завета, реформируя центральный аппарат управления, изменяет и управление церковью. В 1803 г. обер-прокурор Синода стал подчиняться непосредственно царю, а обер-прокурором Синода назначается князь А. Н. Голицын, который затем и осуществляет государственную политику в области религии и церкви на протяжении двадцати лет! Стоит ли удивляться тому, что в масонские ложи того времени входят уже не только представители российской знати, но и духовные лица (по некоторым источникам – архимандриты Феофил и Иов).

Следует отметить, что обрядами официальной церкви довольствуются лишь представители самых низших степеней масонства, пока не достигнут более высоких степеней посвящения, тех, где начинается “над”, или “сверххристианство”, или “универсальное христианство”, в которое обратился, в частности, тот же А. Н. Голицын. Далее они строят под видом христианства, но уже “усовершенствованных”, либо свои особые церкви для посвящённых, либо максимально начинают “надхристианской” символикой прежние, где и предпочитают молиться. Кому? Целью “надхристианства” является, по словам Голицына, уже не что иное, как **предуготовление**... к обещанному Царствию Господа **на земли**, которое будет яко на небеси”... К чьему приходу

готовились в России власть имущие мистики той поры и чьего прихода под именем Господа ждали, уточнять не нам. По всем православным канонам, Господь через делание данных Им заповедей призывает человечество **на небо**. Но “Дух тьмы обещает устройство **рая на земле**”. Иными словами, царствование Александра I к 1812 году привело уже к частичному перерождению официального русского православия едва ли не в прямую его противоположность – на уровне российской знати, на уровне правящей российской верхушки, на уровне, отчасти, новоправославного, послереформенного, духовенства.

Именно потому, на том историческом фоне, не столь уж удивительны свободные духовные искания графа Льва Толстого. Они – типичны для века. Тревожное искание правды в хаосе всевозможных учений, апокалиптические предреволюционные предчувствия – вот что характеризует этот век страшнейшего уклонения России от своего старого, византийского, пути. И общий духовный модный разнос не под силу преодолеть однокрылой новоправославной церкви, так и не устранившей основных противоречий между собой и церковью прежней, народной, отсечённой от центра и сохранившей себя дораскольено – то есть старообрядческой. Впрочем, и старообрядчество не однородно: на свой страх и риск некоторые тихие священники-троеперстники потихоньку возвращаются к служению по старым, не исправленным реформой, книгам, и даже кое-где, подальше от начальства, совершают в своих церковках ход по солнцу...

Но люди, наиболее преданные крепкому старорусскому *радонежскому* православию, исторгнутые из властных структур, то есть – отлучённые от какого бы то ни было управления страной уже на века, проклятые двумя Соборами, сколько их было? Как долго и каким количеством людей хранила Россия старое византийское православие? Всячески уклоняющиеся от того, чтобы “быть записанными”, уцелевшие старообрядцы даже по официальной переписи уже конца XIX века составляют... более четверти населения России. По мнению отдельных историков того времени, их, отринутых от центра в гиблые места, в Сибирь, на Север, в Поволжье – “без сомнения – более половины”. Но лучше всего количественное соотношение двоеперстников и троеперстников отражает такой исторический факт. При разрыве бомбы в 1881 году был смертельно ранен не только Александр II, но убит и казак Александр Малеичев, телохранитель царя. Перед похоронами казака неожиданно выяснилось, что он – старообрядец. Начальство разрешило старообрядцам похоронить своего единоверца. Каково же было удивление властей, обнаруживших при погребении убитого телохранителя, что из 70 человек “собственного его величества взвода” старообрядцами оказалось... 50 человек.

При тяжелейшем кризисе, поразившем новоправославную официальную церковь Центра, во многом потерявшую связь с народной Россией, нет ничего удивительного, что мыслящий писатель Лев Толстой не чувствует под собою крепкой почвы русского православия. В конце 50-х годов говорят о толстовском “выходе из культуры”, об его “опрощении”. Тогда Толстой уходит из большого цивилизованного прозападного мира в Ясную Поляну с большим недоверием к политике официальной, центральной церкви. В поиске истины он обращается к народу. Он стремится понять **его волю**. И “противодействие народа **нашему** образованию” он истолковывает как суд народа над бесполезной, не верной тогдашней культурой России. Собственно, то же самое делает и его герой в “Войне и мире” – “вольный каменщик” Пьер Безухов: он “выходит из культуры” и “опрощается”.

Увы, граф Толстой не останавливается на этом. Его недоверие к культуре перешагивает через недоверие к официальной церкви – и выливается в недоверие к Евангелию. Это недоверие тем более объяснимо, что религиозно разболтанный век успел привить свои вкусы ещё юному графу – “Руссо был моим учителем с 15-летнего возраста”. Известно, что в молодости граф носил на груди портрет Руссо вместо креста. Протоиерей Георгий Флоровский отмечает: “Не случайно Толстой занимался Александровской эпохой, с ней во многом он **чувствовал заодно**”. Та же вольность, сообщённая всему веку Александровской эпохой, позволяет Л. Н. Толстому вовсе не оттачивать своё мировоззрение относительно Евангелия, но Евангелие примерять к собственным ощущениям и понятиям и очень многое из него не принимать как “устаревшее”.

В “Диалектике” Павла Флоренского можно найти такое деление. **Философским** отец Павел называет мироощущение Шекспира (“Есть многое на

свете, друг мой Горацио, что и не снилось мудрецам”), Достоевского (“Всё – тайна”). **Научным** – мироощущение Толстого, приводя в пример следующий разговор. М. А. Новосёлов: “Но есть же, Лев Николаевич, в жизни кое-что таинственное?” Л. Н. Толстой: “Ничего такого, друг Михаил, нет”. “Прежде всего надо верить в разум, – считает писатель, – а потом отбирать из писаний (...) всё, что согласно с разумом, и откидывать всё, что несогласно с ним”.

В Дневнике 1860 года у Л. Н. Толстого появляется запись: “Пришла мне мысль написать **материалистическое** Евангелие, жизнь Христа-материалиста...” Ещё раньше (1855 г.) он записывает в Дневнике свою мысль об основании “новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но **очищенной от веры** и таинственности, религии **практической**, не обещающей будущее блаженство, но дающей **блаженство на земле**”. Вот она, идея построения рая на земле, под которой жила Александровская эпоха. Идея, приведшая затем, в XX веке, к попытке построения “коммунистического рая” по рецепту Троцкого – лагерного коммунизма.

Но и здесь не всё так уж просто, если мы остановим своё внимание на том, что материалистическое – не всегда есть атеистическое. Посмотрим на науку той поры. В 1850 году век потрясло открытие Второго закона термодинамики (Кельвин – Клаузиус). И мыслители тут же принялись развивать энтропийную философию века – всё рождённое и созданное на земле подлежит разрушению, поскольку движется в нашем мире в одну временную сторону – в равновероятное соединение со средой. Любые реакции – химические, психические, физические – теряют неизбежно часть тепловой энергии, а значит, всё реагируемое истощается, а энтропия – то есть разрушение – возрастает.

Но в прямо противоположную по времени сторону может двигаться память, да и само христианство, как устремлённое движение к земной жизни Христа и к Его крестному подвигу, есть движение, обратное энтропии, то есть – обратное разрушению, старению, самоуничтожению и соединению со средой. Сбережение себя от злых поступков – от траты собственной энергии на разрушение, на убыстрение энтропии – вполне материально приводит человека к такой физической смерти, которая сублимирует добрые поступки в антиэнтропийное состояние, то есть в состояние вечной жизни. Иными словами – к воскресению. Антиэнтропийная модель вроде бы давала возможность материалистического, а точнее – научного, обоснования христианства. Она развивается, впрочем, и в XX веке – тем же Тейяром де Шарденом, создавшим труды по ноосфере (концепция антиэнтропийного развития мира). И если последствия этого нашумевшего открытия века у Тургенева отразились в том, что его герой сначала беспрестанно режет лягушек, а потом, умирая сам, просит Одинцову “задуть умирающую лампаду”, то мысль Толстого пошла, конечно же, значительно дальше в силу эпической, глобальной способности мышления. Она вовсе не остановилась на паровом механизме, перемалывающем плотскую запретную любовь, то есть Каренину, на стальных рельсах прогресса. Механизм как железный санитар современности не мог уж особо нравиться самому автору. И запрещённый искус – переосмыслить жизнь Христа в свете новых представлений – был легко спровоцирован веком, плохо защищённым тою официальной церковью, давно не справляющейся с бурными потоками всяческого вольнодумства. Так что всё было – в духе времени, хотя Толстому, возможно, казалось, что – вопреки...

Сокровенной же жизни Льва Толстого, – уже в период его отгороженности от мира, от писания, от страстей плотских, от курения и так далее, – со всею достоверностью никто знать не может. Мы лишь имеем возможность констатировать, что последнее время его жизни было временем приближения к суровому аскетизму, характерному разве что для ранних христиан. Чего стоит уж одно его замечание о духоворах (это, кстати, о мире ценностей Запада – ценностей материального преуспевания, и о ценностях восточного православия в его византийском понимании): “...по мере повышения материального благосостояния начинает понижаться или по крайней мере останавливаться в общине рост религиозно-нравственного сознания... То же было и с духоворами, посёлёнными на Кавказе: богатея, они стали ослабевать в исполнении нравственных требований своего закона...”

Не соглашаясь с Л. Н. Толстым по принципиальным вопросам, православные философы тем не менее признают: сила Л. Н. Толстого – “в его обличительной откровенности, в его моральной тревоге. **У него слышали призыв к покаянию, точно некий набат совести**”, отмечая, правда, при этом,

что он “не умеет объяснить происхождение этой жизненной нечистоты и неправды. Он точно не замечает всей радикальности эмпирического зла” (Г. Флоровский).

Говоря о позиции официальной церкви по отношению к писателю, следует иметь в виду, что так называемое “отлучение”, обнародованное 24 февраля 1901 года, последовало вскоре после выхода романа “Воскресение” (1899 г.). И ладно бы духовенство там было изображено просто наскоро исполняющим обряды. Но персонаж Топоров в романе, возможно – намеренно, отождествлялся некоторыми сановниками с самим Победоносцевым, что было не вполне верно. Топоров выписан неверующим, тогда как Победоносцев, по многим источникам, являлся человеком исключительно верующим. А значит, и оскорблён был “прообразом” в значительно большей и даже болезненной степени, чем можно себе вообразить. Однако, несмотря и на это, официальная церковь лишь “засвидетельствовала”, что писатель Л. Толстой “отторг себя сам от всякого общения с церковью православною”. В ключевой же фразе определения сказано, что “церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею”.

В определении перечисляются также церковные обряды и догматы, которые Л. Толстой иначе исполнял или истолковывал. Но то, что официально двери для писателя она оставила открытыми, а свои отношения с верующим и крещёным писателем – подлежащими возможному пересмотру, не подлежит сомнению. Так что доколе душа писателя, по мощности дара своего и искишаемая паче и паче немощных, остаётся неотпетой, дотоле и вопрос возвращения имени автора “Войны и мира” в ряд православных писателей остаётся открытым... Увы, есть одна печальная закономерность в земной творческой жизни: устремлённый всеми силами души к братскому единению слишком часто оказывается самоотсечённым именно от единства с братьями и покоится от них на отшибе... Наиболее пылко призывающий к любви межлюдьми заканчивает свою жизнь в ненависти едва ли не ко всем. А нежнейший и тонкий лирик, не замечая того, становится жесточайшим тираном для своих близких. Такими бывают издержки тяжёлого, изнурительного литературного труда. Каков же Высший суд, взвешивающий милосердно всякое страдание, и устремление, и усердие, нам не ведомо.

Печально также и другое: наш новый век был устремлён к восстановлению русского духовного единства, как никакой другой в истории. Многие начинали с трепетом надеяться на возможность объединения всех православных церквей – старых, новых, рассеянных по свету. Но сближение наше пошло на Запад, на Восток. Восстановление православного единства с Зарубежной церковью состоялось, ко всеобщему ликованию, а дружелюбные дальнейшие шаги в сторону католичества усугубили внутренний раскол в России и, кажется, уже необратимо. Народная верующая Россия уходит в пещеры, отказывается от паспортов и ИНН – то есть от участия в жизни, подвергшейся натиску глобализации. Она всё ещё хочет жить по-старому. И бессмертно то произведение, которое верно отражает пропорции, существующие в жизни. В “Казаках” Льва Толстого запечатлено навеки – и запечатано – то самое благоговение перед старообрядческим бытом, в который попадает аристократ Оленин. Он хочет любить дивный мир старых правил. Но этот мир отвергает его, просвещённого барина, любовь. Старый мир не хочет приспособливаться к его любви. Не умеет...

Олень – жертва охотника. Русский аристократ Оленин – жертва разъятия, когда своё, тщетное, уже обесцвечено, а в старое хода нет. Движущаяся жертва. И неизбежно – мишень.

Редакция “Нашего современника” сердечно поздравляет своего постоянного автора Веру Григорьевну Галактионову, чьё глубокое, многозначное и красочное слово стало неотъемлемой частью русского художественного мира рубежа тысячелетий, с юбилеем.

От всей души желаем Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, бодрости духа и новых литературных свершений!